

Дело сошло благополучно для него; статья была принята за написанную мною, как я и надеялся, уступая желанию Добр—ва³.

Сделал я и другую уступку ему, но уж не такую неизвинительную: месяца через три напечатал его ответ Галахову⁴; предмет был безопасен для него.

Сделал, незадолго до развязки его отношений к Институту и Давыдову, и третью уступку ему: напечатал его статью «О значении авторитета в воспитании». Эта уступка тоже извинительна: предмет статьи был безопасный для него. Притом, до окончания курса Добр—ву оставалось так мало времени, что можно было иметь уверенность: дело не успеет обнаружиться.

№ 5

ПО ПОВОДУ «АВТОБИОГРАФИИ» Н. И. КОСТОМАРОВА

Ты говорил, чтобы я делился с Тобою своими литературными воспоминаниями. Я и вздумал употребить этот вечер на то, чтоб рассказать Тебе что-нибудь из них. Хотел писать о Некрасове. Но это заняло бы не один вечер. А я имею только один свободный. Перебирал я в мыслях другие темы. Но все они оказывались тоже слишком обширны. Взглянул — на столе лежит июньская книжка «Русской мысли». Вот и прекрасно. Напишу что-нибудь по поводу «Автобиографии» бедного большого чудака, моего бывшего приятеля, бегавшего от меня в последнее время моей петербургской жизни¹.

А кстати, знаешь ли Ты, почему он стал бегать от меня? Ты и два другие интригана, Утин и Спасович, были причиною того, что ему заблагорассудилось бегать от меня. Теперь понимаешь? — Да, разумеется, вышло то, что Ты теперь, по всей вероятности, уж угадываешь.

Однажды он вбегает ко мне в неистовом азарте и с криками, с беготнею по комнате начинает жаловаться на Тебя, Утина и Спасовича: вы устроили против него интригу; целью вашей интриги было добиться того, чтоб он не читал свою речь; и вы добились этого: он не будет читать свою речь! — Что такое? Какая речь? Где и как он хотел читать ее? И почему он не будет читать ее? — Я в то время совершенно не интересовался университетскими делами; забыл, что скоро будет акт в университете; вероятно, слышал от Костомарова, что в этом году будет читать речь на акте он; но если и слышал, то забыл². — «А! скоро будет акт в университете; и вы написали речь для акта? И вам сказано кем-нибудь, что вы не будете читать ее?» — «Да, Плетнев сказал». — «И это он сказал по наущению Утина, Спасовича и моего брата?» — «Да». — «Он сказал, что он делает это по их наущению?» — «Нет, он сказал не то; он сказал: речь очень длинна; акт и без того будет длинен. Но я сам знаю: это они! Это они!» — «Да какая охота могла

быть им мешать вам читать вашу речь?» — «Да она о Константине Аксакове». — «Ну, так что ж?» — «Да я в своей речи хвалю его». — «Ну, так что ж? Какая надобность им мешать вам хвалить его на акте?» — «Да он был славянофил». — «Ну да. Но им-то какое же огорчение от ваших похвал ему?» — Начинаю объяснять моему бедному чудачу, что Спасович и Утин — люди вовсе посторонние спорам славянофилов с западниками. Начинаю объяснять ему, что Ты, хорошо знающий его, по всей вероятности легко простишь ему его клевету; но что Утин и Спасович не будут так снисходительны, потому я буду толковать с ним только о них, оставляя дело о клевете на Тебя без внимания. И стараюсь вразумить его, что Утин и Спасович — люди благородные, прямодушные; что они неспособны унизиться до интриги; потому, его фантазия о них — гадкая нелепость. В заключение всего говорю ему, что он должен сейчас же ехать к Утину и к Спасовичу; он прибежал ко мне, как только сочинилась в его голове глупая фантазия, потому они еще не могли ничего знать о ней. — «Поезжайте к ним сейчас же; в вашей компании вы уж толковали о их интриге, потому слух дойдет до них; но теперь еще не мог дойти; дорожите временем, спешите к ним; расскажите все сам; и за Утина, и за Спасовича ручаюсь вам: они простят, если вы успеете повиниться перед ними, пока они еще не слышали эту сплетню от других. Но когда она дойдет до них, извиняться будет поздно». — Я долго и сильно говорил ему о необходимости просить извинения у Спасовича и Утина и требовал, чтобы он прямо от меня ехал к ним. — Он говорил, что ему надобно подумать, как поступить. Я проводил его словами, что думать тут не о чем, он должен ехать к Утину и Спасовичу, и что терять времени ему нельзя.

Он говорит («Русская мысль», июнь, стран. 35): «Я написал о Константине Аксакове. Речь эта возмутила против меня Стасюлевича, Пыпина, Б. Утина, которые видели в ней переход к славянофильству. Кавелин был на их стороне». Из четырех злоумышленников двое тут уж позднейшее изобретение бедного большого человека. В разговоре со мною об участии Кавелина в интриге он не упоминал. А Стасюлевича он тут поставил на место, которое, в разговоре его со мною, дано было им Спасовичу. Когда диктовал «Автобиографию», он перепутал фамилии по созвучию первой и последних букв. Ни о Стасюлевиче, ни о Кавелине он не говорил ни слова. Он говорил только о Тебе, Спасовиче и Утине.

Итак, Кавелин, Стасюлевич, Утин, Ты — вы были против его речи; «Чернышевский, напротив, отнесся сочувственно». Я тогда не имел понятия о том, что написал он в этой речи. И теперь не знаю. Я не читал ее. И разговор наш вовсе не касался ее содержания. «Я хвалю в ней Аксакова» — только по этим его словам я узнал о ее содержании. И мне не было никакого дела до него. Я вел разговор исключительно о несчастной фантазии бедного чудача, будто бы Ты, Утин и Спасович интриговали против него. — Далее, он говорит, что я «и вообще не был врагом славянофилов».

Мне случалось и раньше этого читать о себе, что я не разделяю вражды крайних западников к славянофилам. Толковать об этом я не имею, теперь досуга. Замечу только, что славянофильство казалось мне тогда глупостью и пошлостью более глупой и пошлой, чем какую казалось и самым крайним западникам. В западничестве были кое-какие элементы родства с славянофильством. В моем образе мыслей этих элементов не было. — Каждое ли слово в Куране — мерзко? Но в нем есть добрые мысли, честные мысли. Но они попали в Куран лишь потому, что Мухаммед — все-таки был человек, живший среди людей, слышавший и добрые, честные мысли, которых невозможно не слышать, когда живешь не в лесу между хищными зверями, а в человеческом обществе, и не мог не покоряться кое в чем и влиянию мыслей честных, добрых людей. Но все, чем отличается Куран от произведений арабской письменности, до-Мухаммеданского времени, — все, безусловно все в нем по моему мнению или глупость или мерзость. Многие ли из самых горячих врагов мухаммеданства думают о Куране так? — Такова же разница между западническими и моими понятиями о славянофильстве.

Однако ж, пора вернуться к воспоминаниям о бедном больном чудачке, моем бывшем приятеле, начавшем бегать от меня после разговора об интриге «Утина, Пыпина и» — не «Стасюлевича», а Спасовича.

Я нимало не изменил своего мнения о нем после этого разговора. Я и прежде знал его жалкие слабости. Когда я виделся с ним, я говорил с ним попрежнему. Но он робел, ему было тяжело. Скоро мы стали встречаться лишь случайно. И встречались редко.

Рассказав, что после беды, постигшей Павлова³, студенты хотели прекратить лекции, а он не соглашался, подвергался за это обидам, но оставался тверд в своем намерении продолжать читать свои лекции, он говорит: «Наконец, ко мне приехал Чернышевский⁴ и стал умаливать меня не читать, чуть ли не на коленях упрашивал, говоря, что студенты хотят устроить демонстрацию и побить меня. Я стоял на своем, говоря, что не могу отступить от своего слова» (то есть от заявления, что будет продолжать читать лекции). — «Вы можете сослаться на то, что это слово было опрометчивое, данное в раздражении». — Я не уступал. «Ну, так по крайней мере, поезжайте к Головнину и просите, чтобы вам запретили читать». — «Не могу и этого сделать: я сам хлопотал о разрешении лекций». — «Ну, так я поеду. Дайте мне какое-нибудь из писем, где вам угрожают скандалом». — Я дал письмо, в котором мне угрожали 200-ми свистков и где, между прочим, было сказано: «Смотрите, вас вынесут насильно, читать не будете». — Чернышевский сам съездил к Суворову и к Головнину и устроил дело так, что мне запретили читать лекции».

В этом рассказе есть несколько ошибок.

«Чернышевский умаливал меня не читать». Тон разговора был вовсе не такой.

«Чернышевский умаливал меня, говоря, что студенты хотят устроить демонстрацию и побить меня». Ничего подобного я не говорил; если б я полагал, что «студенты хотят устроить демонстрацию», я, прежде, нежели ехать к кому бы то ни было с какими бы то ни было предложениями ли, советами ли, поехал бы в заседание комитета студентов, заведывавшего теми курсами, которые были теперь прекращены по решению самого же этого комитета студентов. Он, комитет студентов, решил прекратить лекции; он; те профессора, которые читали лекции, могли и сами считать это надобным; быть может, некоторые из них сами подняли бы вопрос об этом на каком-нибудь собрании профессоров; и быть может, большинство профессоров по собственной инициативе решило бы прекратить чтение лекций; очень может быть; но те из них, которые могли иметь мысль поднять вопрос об этом, — если были такие, то — опоздали взять на себя инициативу. Комитет студентов⁵ уж решил, что необходимо прекратить лекции. Профессорам оставалось только согласиться с решением студентов или действовать наперекор ему. — Итак, инициатива решения, принятого профессорами и студентами, принадлежала студентам. Почему они пришли к убеждению, что лекции надобно прекратить? — Потому, что на лекциях происходили бы демонстрации. Комитет студентов не хотел демонстраций; если б он хотел их, ему стоило бы только не прекращать лекций, — и демонстрации происходили бы неизбежно, хотя бы ни один студент не принимал участия в них. На лекциях бывала публика. Публика не считала, разумеется, надобным подчинять себя студентам. Демонстрировало бы огромное большинство публики. Остановить его было бы невозможно никакими усилиями студентов. Потому-то Комитет студентов и нашел надобным прекратить лекции. — Ты не читал тогда лекций. С другими профессорами я виделся в это время редко. Потому, о их мыслях я знал мало. Но тех членов Комитета студентов, которые были в нем руководящими людьми, я видел в те дни часто. И хотя наше знакомство было еще недавнее, я хорошо знал их. Это были люди очень умные и очень благородные. Помимо их намерений, ни один из членов Комитета не захотел бы высказывать каких-нибудь советов студентам. Не говорю уж о том, что постановления Комитета вполне соответствовали их намерениям: они были руководителями его; большинство было всегда за них, без того я и не называл бы их руководителями. Ни один из студентов, сколько-нибудь уважаемый товарищами, не отказывался сообразовать свои поступки с решениями Комитета. Потому, очень неудачно составлено выражение, которое Костомаров приписывает мне: «студенты хотят побить» его. Ничего подобного намерению «побить» кого бы то ни было не могли иметь «студенты». — И нет ни малейшего сомнения в том, что если бы какой-нибудь посторонний студентам человек поднял

руку на Костомарова, то «студенты», хоть и не сочувствовали тогда ему, защитили б его; как защитили б и самого злобного, самого презренного из своих врагов.

Далее, по рассказу Костомарова, я говорю ему: «Поезжайте к Головнину и просите его, чтобы вам запретили читать». Ничего подобного я ему не говорил.

Далее: он отказывается ехать к Головнину; — не мог не отказываться, разумеется, когда не было ему предлагаемо это; но так как он отказался, то я говорю: «Ну так я поеду. Дайте мне которое-нибудь из писем, в которых вам угрожают скандалом». Я дал письмо, в котором» и т. д. — Никакого письма он мне не давал. Ничего подобного тому, чтоб он дал мне письмо, я ему не говорил. Никакого письма он мне и не показывал. Потому, я даже не знаю, действительно ли были у него тогда какие-нибудь угрожающие письма, или они только стали грезиться его больному воображению впоследствии времени. Может быть, и были; мало ли случается получать угрожающих писем людям в тревожные времена? Но если и были, действительно, присылаемы ему какие-нибудь письма с угрозами, то уж, конечно, нельзя было бы заподозрить в авторстве их никого из членов студенческого Комитета и никого из студентов, сколько-нибудь уважаемых товарищами. Если были они, то писаны они были кем-нибудь из людей посторонних и Комитету и всем тем студентам, представителем которых был Комитет, то-есть огромному большинству студентов. Но — я не видел ни одного такого письма.

«Чернышевский съездил к Суворову и к Головнину». К Суворову я не ездил. И не говорил Костомарову, что поеду к нему. Не зачем было ехать к нему. Для того, чтобы запретить лекции, достаточно было власти у самого Головнина. Ни в чьем согласии на это Головнин не нуждался.

Итак, приходится мне самому рассказать об этом моем разговоре с Костомаровым, потому что из его рассказа остается, по устранинии его ошибок, не очень-то много.

Студенты не хотели демонстраций. Мне было известно это. На лекции Костомарова произошла бы, помимо воли студентов, демонстрация. Это было известно всякому, желавшему знать. Было известно и правительству. Намерения правительства мне не были известны. Но я имел случай убедиться, что оно не желает быть принуждено производить аресты. А демонстрация поставила б его, по его мнению, в необходимость принять меры подавляющего характера. Я решил, что если Костомаров не откажется от своего намерения продолжать чтение лекций, то надобно попросить Головнина запретить ему чтение. Я не могу сказать, что я был знаком с Головниным; — нет, я был человек не достаточно важный для того, чтобы быть с людьми в положении Головнина на правах знакомства. Но мне случалось несколько раз быть у Головнина. Каждый раз, когда я приходил к нему, он принимал меня и терпеливо выслушивал то, что я говорил ему. Я надеялся,

что и на этот раз он не откажется принять и выслушать меня.

Но будет ли неизбежно мне просить его о запрещении Костомарову читать? — Запрещать, это было не по душе Головнину. Быть может, у Костомарова достанет рассудка избавить его от этой неприятности, а себя от стыда, в который он залез своим упрямством. Надежды было мало. Но надобно ж было попробовать.

Я уж не был в это время знаком с Костомаровым. Он дичился, робел, когда видел меня. Мне надоело это. И довольно давно мне уж не случалось встречаться с ним. Тем меньше мог я не попытаться теперь урезонить его: быть может, он рассудит, что когда я, не имевший желаний возобновлять знакомство с ним, зашел к нему дать совет, то значит дело не может кончиться его отказом принять мой совет; вероятно я поведу дело по-своему, если он не уступит. Прямо с этого я и начал, как вошел в комнату: «Здравствуйте, Николай Иванович; мы давно не видимся; и разумеется, если я зашел к вам, то считаю важным дело, о котором хочу поговорить с вами. Вы хотите читать лекцию. Будет демонстрация. Наперекор воле студентов будет. Они не хотят обидеть вас. Но большинство публики осуждает вас. И вы будете преданы позору публикою». — И так дальше, в этом роде. — «Вы имеете заслуги. Не позорьте себя». — Я говорил долго. — Он отвечал, что он будет читать. — Тогда я стал говорить точнее прежнего о том, какую роль хочет он разыграть. — «Результатом демонстрации будут аресты, процессы, ссылки. Люди, которые устраивают такие происшествия, какие нужны для принятия репрессивных мер, — это агенты-provokatory. Не берите на себя роль агента-provokatory». На тему «агент-provokator» я говорил долго. — «Не хочу подчиняться деспотизму ни сверху, ни снизу», — отвечал он. «Студенты объявили, что лекции прекращаются. Это деспотизм. Не подчинюсь деспотизму». На этом пункте засела его мысль, и никакими резонами нельзя было стащить ее с этой умной позиции. — «Не о деспотизме тут дело, а об арестах и ссылках тех людей, которые кажутся вам поступившими деспотически. Демонстрировать будут не они, а в ответе за демонстрацию будут они. Они погибнут, если вы будете читать лекцию». — Он твердил свое: «Это деспотизм; не хочу подчиняться деспотизму ни сверху, ни снизу». — «Хотите губить сотни честных людей?» — Твердил свое одно и то же: «Не хочу подчиняться» и т. д. — «В таком случае, скажу вам: от вас я еду к Головнину просить его, чтоб он запретил вам читать». — «Это деспотизм!» — «Думайте об этом, как вам угодно; но знайте: читать лекцию вы не будете ни в каком случае. То лучше скажите, что не хотите. Этим вы избавите ваше имя от позора. Не будьте человеком, которому запрещено играть роль агента-provokatory; откажитесь от нее сам». — «Нет, буду читать». — «Нет, не будете. Головнин запретит». — «Не запретит». — «Говорю вам: запретит». — «Почему запретит?» — «Он не захочет, чтобы произошли аресты и ссылки,

когда от него зависит предотвратить их». — «Не запретит!» — Уперся на том, что Головнин не запретит — и баста! — не собьешь его и с этой позиции. — Я посмотрел на часы. Тянуть разговор дольше было нельзя; иначе я не застал бы Головнина. «Кончим, Николай Иванович. Если вы остаетесь при своем намерении читать, то мне пора ехать. Иначе, не застану Головнина». — «Не запретит». — «Запретит. Откажитесь лучше сам». — «Не запретит». — «Будьте здоровы». — «Не запретит!» — Я пошел; он, провожая меня, все твердил свое: «Не запретит!»

«Не запретит!» — слышу я, затворяя дверь. Это и были последние слова, которые слышал я от бедного чудака.

Вхожу к Головнину. — «Я пришел просить вас о том, чтобы вы запретили Костомарову продолжать чтение лекций». — «Вы думаете, что надобно запретить? Почему вы так думаете?» — Я стал говорить: студенты не сделают демонстрации, но публика сделает; это будет иметь своим последствием аресты. Я говорил подробно. Головнин по временам делал вопросы: «Вы говорите вот что; почему вы так думаете?» — Я отвечал, почему, и продолжал. И говорил, говорил, говорил. Это было долго, очень долго. Больше часа, наверное. И так, я говорил; Головнин делал по временам коротенькие вопросы, слушал; и я говорил, говорил, — и наконец, договорил и остановился.

«Вы высказали все?» — «Все». — «Я совершенно разделяю ваше мнение. И я уже сделал распоряжение о запрещении лекций Костомарова». — «Это было тяжело вам, я уверен; но тем больше приобрели вы права на признательность рассудительных людей», сказал я и встал, простился.

Зачем же он не сказал этого с самого начала? Зачем дал мне рассуждать и рассуждать? Понятно: у него был в это время досуг, и он хотел подшутить над непрощенным советником. И подшутил, очень ловко, умно и мило.

Это было часа в два, в три дня.

Вечером, часов в восемь, подают мне письмо⁶. — Беру — по адресу вижу: от Костомарова. Читаю: «Через час или два после того, как вы ушли, мне принесли бумагу, запрещающую мне читать. О, как раскаиваюсь я в том, что не отказался сам!» — в этом роде, все письмо довольно большое.

Соображая время, когда Костомаров получил бумагу, я видел, что распоряжение о запрещении ему читать действительно было сделано до моего приезда к Головнину и что Головнин действительно имел полное право подшутить надо мною.

Вот нашелся у меня досуг продолжать передачу Тебе моих воспоминаний о Н. И. Костомарове. Прежде всего расскажу, что знаю и что думаю о том эпизоде его жизни, о котором в частности спрашиваешь Ты, — о его отношениях к Наталье Дмитриевне Ступиной⁷.

Я знаю только по его рассказам. Его рассказы мне о них делаются на два класса.

До сцены у ворот дома Ступиных я слышал от Костомарова о Наталье Дмитриевне лишь изредка. Это были общие, краткие очерки их отношений. Сначала он хвалил Наталью Дмитриевну, говорил, что она очень умная и благородная девушка. Я очень мало знал ее; собственно говоря, вовсе не знал. Я видел ее очень редко, и то лишь мельком. Ровно никакого мнения, ни хорошего, ни дурного, ни об уме ее, ни о характере я не имел. Она была совершенно чужой мне человек, слушать о котором я не видел надобности. При первой паузе Костомарова я начинал говорить о чем-нибудь другом. Потому его рассказы оставались кратки и вероятно потому же были редки. — Через несколько времени он стал говорить о ней с ожесточением: она — навязчивая девушка; он прекратил знакомство с ней; она пишет ему письма, он возвращает их ей. Попрежнему я не видел надобности слушать. Если она дурная девушка, то теперь он безопасен от нее. И как прежде похвалы, так теперь порицания ей я слушал молча до первой паузы и при первой паузе начинал говорить о чем-нибудь другом. Потому и они оставались кратки и вероятно потому же были тоже редки. — Содержание этих кратких рассказов Костомарова соответствует, отчасти совпадая, отчасти не совпадая с ними, то, что рассказывает он об этой, как он называет ее, истории своей любви в своей «Автобиографии» («Русская мысль», 1885, июнь, стран. 23) до слов «она писала мне письма, я возвращал их».

Когда случилась сцена у ворот дома Ступиных, Костомаров прямо оттуда пришел ко мне рассказать, что случилось. Дело, которое считал я утратившим важность, оказалось получившим очень серьезный оборот. Если он полагает, что ему нужна поддержка, то я обязан слушать, видел я. Я слушал, и мы долго разговаривали. С этого дня он каждый день рассказывал мне о дальнейшем ходе дела, до окончательной развязки его. Содержание этих подробных, шедших день за день рассказов соответствуют в «Автобиографии» странные слова: «а потом» и т. д. Переписываю их вместе с предыдущими, необходимыми для полноты смысла:

(«Она писала мне письма, я возвращал их»), а потом, одумавшись, хотел было примириться с нею, но узнал, что уже поздно, и она утешилась».

До сцены у ворот он не думал о примирении. Это он говорил мне. Притом, если б он думал тогда о примирении, не могла бы произойти сцена у ворот.

«А потом одумавшись» — то есть через несколько недель, вероятно, или, по крайней мере, дней? — или хоть через несколько часов?

Когда он вбежал ко мне, первым его словом было восклицание: «Женюсь!» — От ворот дома Ступиных до нашего дома будет ли верста? Сколько времени нужно, чтобы торопливым шагом перейти это расстояние? Он вбежал ко мне взволнованный. Это он называет: «а потом одумавшись».

«Хотел было примириться с нею» — то есть, вероятно, простить ей ее двоедушие, ее навязчивость?

Он просил прощения у нее и упрасивал ее согласиться стать его женою.

«Хотел было примириться с нею, но узнал, что уже поздно»; «узнал» — то есть, от посторонних; так по ходу речи.

«Узнал, что уже поздно, и она утешилась» — то есть, что она уж успела обзавестись новым поклонником; вероятно так; таков смысл слова «утешилась» в разговорах о разрыве отношений между мужчиною и женщиною.

На его просьбы она отвечала ему, что прощает его, но быть его женою не может. Это он называет «узнал, что уже поздно, и она утешилась».

Но быть может он не заметил, что такое говорит он словами «она утешилась», быть может он хотел сказать только, что она не мучилась душою, когда он вздумал было «примириться» с нею? — Пусть так. Но и этого не мог он сказать, не отдавая своему желанию думать так предпочтения перед фактом, известным ему. Ему было известно, каково было состояние ее души в эти дни. Ее положение в кругу знакомых было невыносимо. Она уехала из Саратова как только могла скорее. Он знал это.

Ясно, какого доверия заслуживает то, что рассказывает он в своей «Автобиографии» о своих отношениях к Наталье Дмитриевне. Какой характер имели его рассказы мне об этом деле? — Приведу один пример.

Решившись просить руки Натальи Дмитриевны, он сказал матери, что хочет жениться. Татьяна Петровна была рада. Я знал это по разговорам с нею и без него, и при нем. И при нем. Мешало ль это ему уверять меня, что она противится его браку? — Нисколько не мешало. Напрасно я убеждал его перестать говорить противоположное тому, что мы оба знаем; он твердил свое: «мать несогласна». А когда получил отказ, то стал делать сцены матери. «Это вы расстроили свадьбу! Вы отняли у меня счастье!» — Это при мне, знающем правду. Я урезонивал его не говорить при мне этой неправды; он, нимало не смущаясь, продолжал бегать по комнате и кричать: «Это вы, маменька, виновата! Вы отняли у меня счастье!»

Я полагаю, что рассказываемое им в «Автобиографии» о его отношениях к Наталье Дмитриевне до слов «она писала мне письма, я возвращал их» не заслуживает ни малейшего доверия. Заслуживают ли доверия его рассказы мне о том, что было до сцены у ворот? — Тоже не заслуживают, само собою ясно. — В его подробных рассказах о дальнейшем ходе дела я мог очищать истину от фантастической примеси: они были подробны; они шли день за день; я расспрашивал и переспрашивал его. Но в тех кратких, общих очерках, которые изредка делал он и которые прекращал я при первой его паузе, я не могу различить, что в них правда, что фантазия.

Я говорил, что их содержание отчасти совпадает, отчасти не совпадает с рассказом его в «Автобиографии». Некоторые черты одинаковы; другие существенно различны.

Одинаковы, собственно, лишь начало и конец; я цитирую эти черты из «Автобиографии»:

«Я смотрел на наши отношения, как на чисто дружеские» — начало; конец: «Мы разошлись. Она писала мне письма, я возвращал их».

Это достоверно. Не потому достоверно, что одинаково в «Автобиографии» и в рассказах, слышанных мною: одинаковость еще ничего не доказывала бы, при его склонности твердо верить в свои фантазии; но потому достоверно, что само собою ясно из дальнейшего, известного мне хода дела.

Была дружба; она кончилась разрывом потому, что были попытки превратить ее в любовь. После разрыва он получал письма, на которые не отвечал; это было, потому что без этого не могла бы произойти сцена у ворот.

Но все то, что находится в «Автобиографии» между переписанными мною здесь словами, я считаю рассказанным фантастически. Почти все это рассказывал он и мне; но или не в том порядке, или не совсем так, или вовсе не так.

Приведу один пример. В «Автобиографии» он говорит:

(«Я смотрел на наши отношения, как на чисто дружеские»), рассказывал ей о моей невесте, как вдруг неожиданно получаю от нее письмо, где она признается мне в любви. Я ответил ей холодным письмом» и т. д.

Он говорил мне об этом ее письме; он приводил мне и самые слова, которыми она, по его выражению в «Автобиографии», признавалась ему в любви. Он несколько раз повторял мне эти слова, всегда одинаково; и я помню их.

Я полагаю, что это письмо ее — факт, а не фантазия; полагаю, что и слова из него, которые приводил он мне, были приводимы им верно. Не знаю; быть может и ошибаюсь в этом моем предположении; но полагаю так.

Итак, положим, это ее письмо факт. — Но, во-первых, когда оно было написано ею? — Во-вторых, верно ли передается характер факта выражением, что она написала ему «признание в любви»?

По «Автобиографии», оно было написано раньше, нежели невеста Костомарова вышла замуж. По его рассказам мне, позднее отъезда «одинокоего старика С.», который «хотел посвататься» к Наталье Дмитриевне. А это было гораздо позднее получения Костомаровым известия о замужестве его невесты, по его рассказу в «Автобиографии».

От этой разницы выходит непримиримое противоречие между «Автобиографией» и слышанными мною рассказами: весь ход дела от начала отношений, характеризуемого словами «чисто дружеские», до ссоры, о которой он говорит: «прав ли я был, или нет, не знаю» — оказывается имевшим иной порядок, и вся мотивировка

этих (действительных ли, или мнимых) фактов оказывается не та.

Но пусть это письмо было написано до замужества невесты Костомарова. По тем словам, которые приводил он мне из него, ясно, что оно было ответом Натальи Дмитриевны на слова Костомарова, не «признанием в любви» к нему, а выражением согласия принять его любовь. Вот слова, которые он приводил мне:

«Я буду путеводною звездю вашей жизни».

Ясно, этому предшествовали с его стороны жалобы ей на то, что у него нет «путеводной звезды». Вероятно, он толковал о том, что его сердце разбито (потерю невесты; она еще не вышла замуж, но он уже считал себя утратившим ее; об этом после). Сердце разбито, нет цели жизни, некого любить и т. д., и т. д.; это он говорил наедине с девушкою; и не замечал, какой смысл имеют эти жалобы мужчины, излагающего их девушке в разговоре наедине с нею. Он не догадывался, что они в таких разговорах значат: «пожалей меня, полюби меня». — Напрашивался на любовь, получил ответ и — изумился: «вдруг неожиданно получаю» и т. д. А не следовало б изумиться. Если девушка долго слушает такие жалобы, не уклоняется от знакомства, то надобно ожидать, что она согласится принять любовь. А она слушала долго; времени было достаточно: по крайней мере за полгода, — а по его счету, больше чем за полгода до замужества своей невесты он уже считал себя утратившим ее, это я знаю, потому что это он говорил мне с самого начала моего знакомства с ним.

Он познакомился со мною «в начале 1851 года» («Автобиография», стран. 24). Точнее говоря, не в начале года, а в начале весны⁸. Когда я ехал в Саратов, вскрывались реки. Я познакомился с Костомаровым скоро после приезда. Вероятно, в апреле. Его невеста вышла замуж в конце 1851 года («Автобиография», стран. 22). Возможно ли полагать, что он не начал говорить Наталье Дмитриевне о утрате невесты по крайней мере с того же времени, как стал слышать об этом от него я? — Знакомство с Натальею [Дмитриевною] началось, по его словам, раньше: «еще в 1850 году», говорит он в «Автобиографии».

Итак, я полагаю: он пускался в разговорах (или в переписке) с Натальею Дмитриевною в жалобы, значения которых в подобных разговорах (или переписках) не замечал. И получил на них ответ, сообразный с тем значением, какое они имеют в подобных случаях.

Но это лишь предположение. И я высказываю его лишь для примера. Я хотел этим примером объяснить мои слова: кроме фактов, что была дружба и по произведенном чьею-то — его или ее не знаю — попыткою превратить дружбу в любовь разрыве знакомства Наталья Дмитриевна писала письма, нет в рассказах его мне ничего такого, что не находилось бы в противоречии с чем-нибудь из рассказываемого им в «Автобиографии».

Но — и рассказы его мне фантастичны, как его рассказ в «Автобиографии». Я полагаю, что ни согласие, ни разноречие двух

фантастических источников не дает прочного основания ни для каких заключений о том, в чем состояла фактическая истина. Потому, дав один пример постройки предположений на этом шатком основании, нахожу, что продолжать это было бы делом бесполезным. Ясно, что выводы получились бы не в пользу Костомарова. Но я предпочитаю думать, что сам он достаточно предостерег от доверия к дурным элементам своего фантазерства в «Автобиографии». Он говорит о своих подозрениях: «Прав ли я был, или нет, не знаю», раньше того он делает оговорку, показывающую, как надобно, по его собственному понятию о своем характере, думать о его подозрениях: «мои подозрения, при моей крайней природной мнительности, дошли до крайней степени». — Мне кажется, что этими словами «при моей крайней природной мнительности» он с достаточною точностью определил, что такое его подозрения: продукт его характера.

Разумеется, я должен передать то, что слышал от него до сцены у ворот дома Ступиных о его отношениях к Наталье Дмитриевне. Но я говорил, что эти рассказы его мне фантастичны. Сущность их была такова:

Он был дружен с Натальею Дмитриевною. Он часто бывал у Ступиных. Наталья Дмитриевна попросила его перестать на некоторое время бывать у них, потому что ее отец и мать предубеждены против него; когда их предубеждения рассеются, тогда он и возобновит свои посещения. По этой ее просьбе он перестал бывать у них. Но он и Наталья Дмитриевна продолжали видеться. И кроме того, что виделись, переписывались. Содержанием их переписки был обмен мыслей о поэзии, литературе, искусстве, о философских и научных вопросах. Но вот, читая ее письма, начинавшиеся тоже изложением ее мыслей об одном из обыкновенных предметов их переписки, он дочитался до того, что никак не ожидал прочесть: она писала ему, что будет путеводною звездою его жизни (дошедши до этого, он цитировал, повторяя несколько раз, подлинные, как он говорил, слова ее письма; я приводил их в буквальном виде: «я буду путеводною звездою» и т. д. — Раза три он рассказывал мне об этом письме и при каждом рассказе по нескольку раз повторял эти слова). Он был удивлен. У него не было мысли о женитьбе на ней. Он отвечал ей письмом, в котором говорил, что не имел мысли о женитьбе на ней и что он прекращает знакомство с нею. Она присылала ему письма, он возвращал их ей.

Я должен был передать содержание его рассказов мне. И пересказал. Но я говорил: его рассказы мне фантастичны. Из того, что пересказал я, только первые два слова (о дружбе) и последние слова (она присылала ему письма, он возвращал их), я считаю, достоверны. Все, что находится между ними — сказка, которой я полагаю, что какая-нибудь доля правды есть в ней; но что в ней правда, я не могу решить.

В мою краткую передачу его рассказов я не ввел его подозрений. Это потому, что сам он в рассказах своих мне лишь вскользь упоминал о них и никакого значения не придавал им. Он толковал

лишь о том, что продолжать знакомство значило бы—стать ее женихом, а у него не было мысли жениться на ней.

Я не передал похвал ей; само собою разумеется, что в первых его рассказах, предшествовавших его разрыву с нею, отзывы его о ней были похвалами, исполненными уважения. Но я имею надобность передавать лишь то, что было содержанием рассказов его в период его ожесточения против нее. Прежние его, панегирические, отзывы о ней были честные, искренние. Но он отбросил их из последующих рассказов. Потому отбросил и я из моего пересказа.

По «Автобиографии» он хотел жениться на Наталье Дмитриевне и говорил ей об этом; но она просила его подождать со сватовством. В рассказах мне он не упоминал об этом. Было ль это? — Может быть это было, и он только умалчивал мне об этом. — Или, быть может, он в «Автобиографии» перепутал порядок фактов, рассказал раньше разрыва, поставил причиною разрыва то, что было после сцены у ворот? — Быть может.

Итак, для меня достоверно лишь то, что у него была дружба с Натальею [Дмитриевною], что были какие-то попытки превратить дружбу в любовь, и из этих попыток произошел разрыв. С чьей стороны были эти попытки, я не могу сказать достоверно и предпочитаю оставлять это в моих мыслях не решенным.

То, что буду говорить дальше, известно мне достоверно.

После разрыва знакомства с нею она писала ему. Он был раздражен этим. Встретив ее у ворот ее дома, он нанес ей оскорбление. Она удалилась. Он пошел ко мне. Пришел уже с готовым решением просить ее руки. Он хотел, чтобы разговоры со мною поддерживали в нем эту решимость. Разумеется, я соглашался с ним, что ему следует просить ее руки. Он послал ей письмо, в котором просил ее прощения и упрашивал ее согласиться стать его женою. Она отвечала ему, что прощает его, но быть его женою не может: Он продолжал упрашивать ее. Это длилось несколько дней. Ему казалось, что она уступит его просьбам. Но кончилось тем, что она отвечала ему выражением своей непоколебимой решимости не быть его женою.

Таковы общие, совершенно достоверные черты хода дела. Расскажу теперь те подробности, которые твердо помню.

Это было в совершенно теплое время года, когда окна *бывают* открыты с утра до ночи; то-есть, вероятно, не раньше мая и не позже августа (1852 года).

Однажды вечером я сидел у Костомарова. Тут был и еще один из его знакомых, бывший и моим знакомым, Павел Дмитриевич Горбунов (младший брат Александра Дмитриевича Горбунова, о котором Костомаров упоминает в своей «Автобиографии»). Он ушел раньше меня. Когда он ушел, мы заметили, что он забыл свою палку. Она была суковатая.

На другой день, после обеда, я читал в моей комнате на мезонине. Мы обедали рано. После обеда прошло не очень много времени, когда я услышал быстрые шаги мужчины, всходящего по лестни-

це на мезонин. Был, вероятно, второй час дня, около половины и несколько поближе к концу. — Я услышал шаги, только уж когда они были на последних ступенях лестницы, и пока я опускал книгу, в дверь комнаты вбежал Костомаров, с тою, забытою у него, палкою в руке, взволнованный, и останавливаясь на первом шаге от двери, воскликнул: «Женюсь!» — махнул палкою, толкнул ее к соседнему с дверью углу и подошел ко мне, только еще встававшему с дивана, — так это было быстро. — Мы сели на диван, и он начал рассказывать, что такое случилось. — Он был взволнован; потому вставал, отходил на шаг и стоял, подходил опять к дивану и садился; но это было лишь то, как держит себя всякий взволнованный человек; обыкновенных эксцентричностей его волнения вовсе не было: он не бегал по комнате, не кричал. И рассказывал без эффектных выражений, совершенно просто. То-есть серьезность его волнения была более глубокая, чем обыкновенно. — Вот сущность того, что он рассказал мне.

Он поехал (у него была лошадь) в ресторан (тогда был в Саратове какой-то ресторан) играть с Мелантовичем на бильярде. (Он в своей «Автобиографии» упоминает о Мелантовиче. Они — он и Мелантович — в это время почти каждый день сходились или съезжались в этом ресторане сыграть перед обедом несколько партий на бильярде. И он, и тем более Мелантович, человек с привычками богатого светского общества, обедали гораздо позднее, чем мы.) Отправляясь из дому, он взял с собою палку, забытую у него Горбуновым, думая занести ему ее, когда пойдет домой из ресторана. (Это было, действительно, по пути ему. Ресторан был где-то около Театральной площади или на ней; я не знал, где именно, но знал, что в тех местах. Его путь домой был мимо Архиерейского дома, через Бульвар, мимо дома — все еще остававшегося домом Хариной или уже принадлежавшего самой Анне Эльпидифоровне, жене А. Д. Горбунова? — где жил, при брате, Павел Дмитриевич.) Входя в ресторан, он отпустил лошадь. В ресторане еще не было Мелантовича. Он подождал несколько минут, соскучился и вздумал сам сходить за Мелантовичем. Когда он подходил к дому Ступиных (действительно ли он шел к Мелантовичу? — то-есть: действительно ли он не искал встречи с Натальею Дмитриевною? — Я считаю достоверным его уверение, что у него не было умысла искать встречи с нею. Где жил тогда Мелантович, я не знал. Но я не сомневался и теперь не сомневаюсь, что Костомаров действительно шел к нему и не искал встречи с Натальею Дмитриевною. — Порядок домов, мимо которых шел он, был, по направлению его пути: Архиерейский дом; дом Сократа Евгеньевича; дом Ступиных; дом Мордовина; кажется, Мордовина? — большой, каменный. — Дом Ступиных стоял во дворе, в нескольких саженьях от линии улицы; по улице были только забор и ворота этого дома. Ворота всегда были весь день отворены), — итак: когда он приближался к воротам дома Ступиных, он увидел идущую через тротуар перед этими воротами (не припомню, выходящую ль из ворот, или возвращающуюся

домой; но в том ли, в другом ли направлении, от бульвара ль к воротам, или от ворот к бульвару, переходящую через тротуар перед воротами своего дома) Наталью Дмитриевну. Одну. При виде ее досада на нее вспыхнула в нем, и, мгновенно ускорив шаг, он стремительно подошел к ней и громким голосом раздражения сказал: «Сударыня, избавьте меня от ваших писем». Когда он быстро подходил к ней, она оглянулась на стук шагов и остановилась было; но когда зазвучал раздраженным тоном его голос, она, при первых звуках, отступила на шаг от него, подступившего вовсе близко к ней; а когда он произносил последнее слово своей фразы, она ринулась вперед; дело в том, что в эти секунды брат ее, Михаил Дмитриевич (молодой человек; ростом выше Костомарова), шедший со двора в ворота или стоявший в воротах, бросился на Костомарова, поднимая кулаки; Костомаров размахнулся палкою ударить его по голове; но Наталья Дмитриевна, в этот миг ринувшаяся вперед, простирая руки между братом и Костомаровым, оттолкнула брата, и палка, не достав его головы, ударила по голове Наталью Дмитриевну. Удар был по верхней части лба, над глазом; левым глазом, если не ошибаюсь. Брызнула кровь. Наталья Дмитриевна крепко охватила у плеча руку брата, хотевшего снова броситься на Костомарова, и пошла в ворота, принуждая брата идти с нею. А Костомаров пошел ко мне.

Так рассказывал он мне.

Я полагаю, что в этом его рассказе не было фантазий. Он был в серьезном глубоком волнении. Он был не в таком настроении духа, чтобы фантазировать. Могло быть одно: он мог смягчить свою роль. Она могла в действительности быть хуже, нежели в его рассказе. — У ворот дома Мордовина стояло несколько человек, как заметил он, когда шел мимо: они хохотали, они тыкали пальцем по направлению к нему; потому он и заметил их. — Им должны были быть слышны его слова у соседних ворот: он говорил громко.

Были свидетели сцены и кроме них. Окна домов были открыты. У окон сидели люди. Этого он не видел. Но мне случилось слышать, что были люди, видевшие эту сцену из окон. Городская молва вообще мало доходила до меня. Но дошли и до меня отголоски молвы об этой сцене. Молва приписывала Костомарову роль еще более грубую, чем та, которую играл он по его рассказу мне. Говорили, что он «гнался с палкою» за Натальею Дмитриевною; что он «ругал» ее. — Я расположен думать, что это преувеличения, предпочитаю думать, что было лишь то, что рассказал он мне.

Когда он кончил рассказ, то стал говорить, что будет просить прощения у Натальи Дмитриевны и сделает предложение ей. Мне оставалось только сказать, что это решение хорошо, и говорить то, что могло поддержать его решимость. Я не имел никакого, ни хорошего, ни дурного мнения о характере Натальи Дмитриевны; я не знал ее. Но теперь это было для меня все равно. Я стал хвалить ее, стал говорить, что брак с такою благородною девушкою будет счастьем для него. И сам он говорил так.

Он в этом разговоре был рассудительным, серьезным человеком. Сначала очень взволнованным, правда; но и с самого начала человеком, рассуждающим здраво. — Когда он бывал таким в следующие дни, то мать радовалась на него.

Но не всегда он бывал таким. Я уж говорил, какой вздор выдумал он о матери. Тогда надобно было спорить с ним. Мне приходилось спорить с ним.

Когда его переговоры с Натальею Дмитриевною кончились решительным отказом ее продолжать их, я стал говорить ему, что Наталья Дмитриевна поступила благоразумно, отказавшись быть его женою: при болезненной капризности своего характера он был бы мучителем ее и мучился бы сам. Мне казалось, что это помогает ему успокоиться. На него жаль было смотреть.

Разумеется, если б она, начав отказом, кончила согласием, то их брак был бы счастлив. Жене такого мужа надобно только быть хитрою лицемеркою — и муж будет в восторге от нее, ангела; она будет вертеть им, как ей угодно, и будет тоже счастлива. До сцены у ворот Наталья Дмитриевна могла не понимать характера Костомарова. После этой сцены — должна была понять. Если бы согласилась быть его женою, то знала бы, на что решается.

Но она отказалась. Когда так, то, значит, роль притворщицы не казалась привлекательна ей. А когда так, то мне было ясно, что брак ее не был бы счастьем ни для Костомарова, ни для нее. — За ее отказ я стал действительно уважать ее.

Она была благородная девушка. Это я узнал в те дни, когда Костомаров упрашивал ее быть его женою. Она держала себя благородно, великодушно. Я знаю это по его рассказам. По его собственным рассказам. Других сведений у меня нет никаких. Но и того, что рассказывал сам он, достаточно, чтобы сказать с полной достоверностью: она была благородною девушкою.

Я познакомился с Костомаровым вскоре после моего приезда в Саратов, как я уже говорил, — вероятно, в апреле (или, быть может, в мае) 1851 года. Знакомство началось, действительно, тем, что я приехал к нему, как он упоминает в «Автобиографии»; и действительно, мы виделись очень часто. Действительно, играли в шахматы (только напрасно он думает, что я «играл мастерски»; я играл, как тогда, так и после, до такой степени плохо, что хорошие игроки, попробовав сыграть со мною одну партию, не хотели играть больше: моя игра была так слаба, что не представляла занимательности для них. Костомаров тоже играл плохо; потому и мог находить, что я умею играть). Но «читали вместе» мы с ним разве лишь как-нибудь случайно какую-нибудь страницу, для подтверждения или опровержения какой-нибудь ссылки на какой-нибудь факт, сделанной кем-нибудь из нас в разговоре. Вероятно, бывали такие случаи; но если и бывали, то очень редко. А того, что в собственном смысле слова называется «читать вместе», — никогда не

было. Мы «толковали», как выражается он; вот это действительно так; собственно в этом и состоял главный элемент наших отношений с ним: мы «толковали». Он говорит, что меня тогда «занимало славянство»; оно занимало его; меня не занимало; но он говорил о нем много и горячо; его идеал — федерация всех славянских племен — казался мне идеалом ошибочным, влечение к которому дает результаты, вредные для русских, вредные и для других славян. Потому я спорил против мысли о славянской федерации в той форме, в какой желал этой федерации Костомаров. — Дальше он говорит, что я «изучал» тогда сербские песни. У меня был Вук Караджич, это правда; но едва ли я прочел хоть половину его. Я так мало читал его, что никогда не знал по-сербски сколько-нибудь порядочно. «Мелантович, человек поэтический и увлекающийся, недолюбливал» меня, по словам Костомарова. Я так мало видел Мелантовича, что не замечал, хорошего ли мнения обо мне он или дурного. Но прочитав эти слова в «Автобиографии», я увидел, что в самом деле он «недолюбливал» меня. Иначе он поддержал бы знакомство со мною; он был человек светский, он умел бы поддержать знакомство, если бы хотел; а оно расклеилось как-то; как именно, я и не замечал, по своему незнанию привычек Мелантовича; я полагал, что нам с ним не случается видеться, только и всего. Я с своей стороны был вовсе не прочь поддержать знакомство с ним; но — он был человек богатого светского общества, мне казалось, что в Саратове он живет — для одинокого молодого человека скромных нравов, каким был, мне казалось, он — на широкую ногу. И я стеснялся навязываться на сближение с ним. А само собою сближение не устраивалось; только, казалось мне. Теперь вижу: не то, что сближение не устраивалось само собою, нет: он преднамеренно устранился от продолжения едва начавшегося знакомства со мною. Но, человек светский, сумел отстраниться деликатно. — Итак, я очень мало знал его. Но сколько я знал его, он казался мне очень хорошим человеком. И я всегда сохранил расположение думать о нем с симпатиею. — Костомаров продолжает: Мелантович называл (меня) сухим, самолюбивым (человеком); и «не мог простить отсутствие поэзии» во мне. Жаль, что Мелантович думал обо мне так; но это все равно: он для меня остался навсегда симпатичным человеком. — Мелантович, по мнению Костомарова, едва ли ошибался в том, что у меня нет любви к поэзии или умения понимать ее, и рассказывает маленький анекдот: сидели мы с ним у окна, в мае; вид был прекрасный: Волга в разливе, горы, сады, зелень. — «Я совершенно увлекся» (продолжает он). — И он стал хвалить вид и сказал: «Если освобожусь когда-нибудь, то пожалею это место». — А я на это отвечал: «Я не способен наслаждаться красотою природы». Я помню этот случай, и Костомаров пересказывает его совершенно верно. Дело только в том, что он хвалил «красоты природы» слишком долго, так что стало скучно слушать, и если бы не прекратить этих похвал, то он продолжал бы твердить их до глубокой ночи. Я отвечал шуткою, чтобы отвязаться от слушания

бесконечных повторений одного и того же. Но красоты природы были еще очень сносны сравнительно с звездами. О звездах он чуть ли не целый год начинал говорить каждый раз, как виделся со мною, и каждый раз толковал без конца, — то-есть до конца преждевременного, производимого какою-нибудь моею шуткою вроде приводимого им ответа моего на похвалы красотам природы. Это была скука, которая была бы невыносима ни для какой из старинных девиц, охотниц смотреть на луну.

Обо мне кончено. Дальше идет речь об Анне Никаноровне Пасхаловой. И по поводу Анны Никаноровны опять обо мне: я подсмеивался над их дружбою, и «вообще Чернышевский и Пасхалова не особенно долюбливали друг друга». — О том, что Мелантович недолюбливал меня, он, как и следует порядочному человеку, не говорил мне, потому что не было никакой надобности мне слышать это. Но об Анне Никаноровне я говорил с ним очень много и настойчиво; потому он имел право не умалчивать передо мною, что она «недолюбливает меня». Для меня было все равно, хорошего ль она мнения обо мне или дурного. Мне казалось надобным не только «подсмеиваться» над их дружбою, но и очень серьезным тоном доказывать ему, что ему следует помнить, к чему обязывает дружба. — Лично я мало знал тогда Анну Никаноровну. Но с нею — несколько раньше того — был дружен один из близких мне людей (Ты знаешь, мой друг, о ком я говорю). Потому, я был расположен думать о ней, как об очень хорошей женщине. — Ее домашние отношения были, как я слышала, тяжелы. Она была в полной зависимости от матери, у которой жила; муж обобрал ее; у нее не оставалось ничего, — так я слышал. — Ее матери не нравилась ее дружба с Костомаровым, слышал я; мне говорили, что мать стала обращаться с нею хуже прежнего по неудовольствию на ее дружбу с Костомаровым. — Он соглашался, что все это так. Он говорит в своей «Автобиографии», что он и Пасхалова «занимались астрономиею и даже лазали по чердакам, чтобы наблюдать звезды»; все «занятия» их астрономиею только в том и состояли, что они «наблюдали» звезды, — то-есть вовсе не «наблюдали» их, потому что не имели ни астрономических инструментов, хоть бы плохих, ни малейшего понятия о том, как надобно «наблюдать» звезды; вовсе не «наблюдали» звезды, а просто сидели и смотрели на них, твердя друг другу: «Как прекрасны звезды!» или, в частности, «как прекрасна эта звезда!» Некоторое время в особенности им нравилась Капелла; что-то долго твердил мне Костомаров о красоте Капеллы, которая, вот, и в прошлую ночь была удивительно хороша. — Мать сердилась на Анну Никаноровну за эти «занятия астрономиею»; и я доказывал Костомарову, что не должно ему «лазать по чердакам» с Анною Никаноровною, которая подвергается за это неприятностям от матери; пусть он лазит один, на свой чердак, Анна Никаноровна, если ей угодно, пусть тоже лазит, сколько ей угодно, на свой чердак; и вдвоем на один чердак пусть не лазят; я говорил ему, что виноват в этих дурачествах он один; что он из-за своего

дурачества пренебрегает серьезными интересами Анны Никаноровны. — «Впоследствии, когда я увлекся русскими народными песнями, мы вдвоем» — с Пасхаловой — «ходили по кабакам и записывали песни», — продолжает он. — Могло это нравиться матери Анны Никаноровны? Как же мне было не порицать его за это? — Но, разумеется, я толковал с ним без всякого успеха.

Он имел упрямство больного человека.

Дальше он говорит о своем участии в «так называемом жидовском деле»⁹. Он рассказывает об этом гнусном процессе так, как будто обвинение против «жидов» имело серьезные основания и — как знать? — пожалуй, было справедливо. Это был процесс гнусный. Так решил Сенат. Неужели ему было неизвестно решение Сената? Неужели и раньше того он не слышал, кто были обвинитель и обвинительница? — Они были мерзавец и мерзавка (павший до самого пошлого мошенничества образованный человек и пьяная, гадкая, промышлявшая развратом женщина). И все в процессе против несчастных было таково. — Его участие в этом процессе — прискорбный эпизод его деятельности. Но он и не думал скорбеть о нем, когда диктовал свою «Автобиографию». — Этого, при всем моем знании его болезненных недостатков, я не ожидал от него. Я думал, он жалеет и стыдится.

Да, когда он диктовал свою «Автобиографию», — он был человеком еще более больным душою, чем каков он был, когда я знал [его].

Но он был уж очень больной духом человек и в то время, когда я познакомился с ним.

И физическое его здоровье было уж очень расстроено. Кроме нервных страданий, у него тогда не было никакой болезни. Ему воображалось, что он болен физически. Это была фантазия его больного воображения, только. Но он, не слушая порядочных медиков, смеявшихся над его мнимой болезнью и советовавших ему бросить мысль о ней, лечился все время, которое прожил я тогда в Саратове. Он находил медиков, соглашавшихся переписывать и подписывать своим именем рецепты, которые он выбирал для себя из медицинских книг или составлял сам. И он глотал вредные для него, сильно действующие лекарства. Нервные страдания и эти лекарства уже сделали его хилым, когда я познакомился с ним. — Мне казалось, что в Петербурге, в те годы, которые жил он там до прекращения моего знакомства с ним, он был менее хил, нежели каким я знал его в Саратове. — О его медицинских проделках над собою много было у нас с ним разговоров. Разумеется, ни постоянные насмешки мои, ни очень частые серьезные урезонивания не помогали: он и хохотал над собою, но продолжал изнурять себя вредным лечением от несуществовавшей болезни.

Я смотрел на него, как на человека, больного душою. Потому извинял ему и такие дурные эксцентричности, как дикая сцена у ворот дома Ступиных, и то, что он был мучителем своей матери, превосходной женщины.

И не все ж он только капризничал и безрассудствовал. И не со всеми ж он держал себя так нехорошо, как относительно Натальи Дмитриевны. — Сколько я мог судить, большинство его знакомых не имели причин быть недовольны его обращением с ними.

Относительно меня он держал себя так, что я никогда не имел ни малейшего личного неудовольствия против него. А мы виделись очень часто; временами по целым месяцам каждый день, и почти каждый день просиживали вместе долго. И однако же ни одного раза не встретилось мне никакого повода к личному неудовольствию против него. Я часто раздражал его серьезными порицаниями; еще чаще, несравненно чаще, или насмешками, или неловкими шутками. Но и в минуты раздражения он держал себя со мною безукоризненно: говорил, что ему больно или обидно, но говорил безукоризненно хорошо.

Мое знакомство с ним было знакомство человека, любящего говорить об ученых и тому подобных не личных, а общих вопросах с человеком ученым и имеющим честный образ мыслей. Мой образ мыслей был в начале моего знакомства с ним уж довольно давно установившимся. И его образ мыслей я нашел тоже уж твердым. Потому, если мы думали о каком-нибудь вопросе неодинаково, то спор мог идти бесконечно, не приводя к соглашению. Были вопросы, о которых и шли бесконечные споры. Но в те времена в России было между учеными мало людей, в образ мыслей которых входили бы элементы, симпатичные мне. А в образе мыслей Костомарова они были. На этом было основано мое расположение к нему.

Попробую разъяснить двумя-тремя примерами, в чем состояла симпатичность его образа мыслей мне и в чем была разница между его и моими решениями вопросов.

Он в те годы еще оставался очень горячим приверженцем мысли о федерации славянских племен. Я был заинтересован судьбою славянских племен, живущих за границею русского государства, — или выражусь яснее: судьбою болгар, сербов, словаков и живущих далее на запад — ровно столько же, как судьбою греков, албанцев и других некрупных европейских народов, не живущих в России; ровно столько же, ни меньше, ни больше. Потому, о чехах лично я был так же мало расположен вести частые или длинные разговоры, как о датчанах, о сербах так же мало, как о бретонцах, то есть еще гораздо меньше, нежели о чехах. Но он любил говорить о них, — не о каком-нибудь из этих славянских племен в частности, а обо всех вместе со всеми другими славянскими народами или племенами, о федерации, которая охватывала бы всех. Эта федерация была бы, как мне казалось тогда (и кажется теперь), вредна для всей Европы и в частности гибельна для каждого из славянских племен, начиная с того, к которому принадлежу я, и кончая хоть бы кашубами или лужицанами. Потому идея о федерации всех славянских племен была тогда (и остается теперь) ненавистна мне. И мы с Костомаровым спорили о ней очень часто. Но, желая того, что, по моему мнению, было бы гибельно, например, для кроатов,

он желал этого по чистой, безоговорочной и чуждой всяких — например, малорусских — эгоистических расчетов, бескорыстной любви к кроатам. — Ему кроаты были очень интересны или милы, как одно из подразделений одного из славянских племен. Мне они были не интереснее и не милее, чем калабрийцы. Но я желал добра и кроатам, как желал калабрийцам. И отсутствие малорусских или каких других-не-кроатских племенных эгоистических мотивов в мыслях Костомарова о кроатах было симпатично мне. Это составляло разницу между его идеями и идеями славянофилов. Географический характер построения — один и тот же; но мотивы географического построения у него были не те, как у славянофилов.

Я хотел привести два-три примера. Вижу, довольно и одного. — Таких спорных вопросов, поднимаемых Костомаровым, было много. И я спорил, потому что это интересовало его. — Но обо многом судил он, по моему мнению, или совершенно правильно, или несравненно правильнее, чем большинство тогдашних русских ученых¹⁰.

№ 6

МОИ СВИДАНИЯ С Ф. М. ДОСТОЕВСКИМ

Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. Подошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора «Бедных людей». Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: «Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими». Я слышал, что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлениями о поджоге Толкучего рынка. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: «Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание». — Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения личной его благодарности мне за то, что я по уважению к нему избавляю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город. Заметив через не-